

ФИЛОСОФИЯ В АМЕРИКЕ СЕГОДНЯ ¹

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ТРАДИЦИЯ

Революционные изменения в какой-либо интеллектуальной дисциплине требуют ревизионистской истории этой дисциплины. Для аналитической философии такое ревизионистское рассмотрение проделал Рейхенбах в своей работе «Происхождение научной философии». Эта книга, опубликованная в 1951 году, представляет такую точку зрения на историю, которая объясняет замечание Куайна о том, что люди идут в философию по одной или двум причинам: некоторых интересует история философии, а некоторых — философия. Это остроумное замечание Куайна предполагает, а книга Рейхенбаха доказывает, что истинная цель философии состоит в решении набора поддающихся идентификации проблем, возникающих из деятельности и результатов естественных наук. Рейхенбах так описывает свою книгу:

Она утверждает, что философское размышление — это преходящая стадия, которая имеет место тогда, когда философские проблемы поднимаются в момент, нерасполагающий логическими средствами для их решения. Книга говорит о том, что научный подход к философии существует и всегда существовал. И она призвана доказать, что именно на этой почве возникла научная философия, которая в науке нашего времени обрела средства для решения тех проблем, которые ранее были лишь предметом догадок. Короче говоря, эта книга написана для того, чтобы показать, что философия перешла от спекуляции к науке ².

Историю Рейхенбаха сейчас уже нельзя было бы писать в тех терминах, в каких он ее писал, поскольку он считал нетребующими доказательств все те позитивистские доктрины, которые в течение дальнейших тридцати лет были развенчаны Витгенштейном, Куайном, Селларсом и Куном. Но большинство постпозитивистских философов-аналитиков и сейчас согласились бы с тем, что философия относительно недавно «перешла от спекуляции к науке». Они разделили бы ту точку зрения, по которой философию можно определить в терминах набора поддающихся идентификации постоянных проблем, ко-

¹ Rorty R. Philosophy in America Today // Consequences of Pragmatism. Minneapolis. University of Minnesota Press. 1982, pp. 211–230. Перевод выполнен А. Ханановым. — Прим. ред.

² Reichenbach H. The Rise of Scientific Philosophy. Berkeley: University of California Press, 1951. Все дальнейшие ссылки на Рейхенбаха относятся к страницам и главам этой книги, и будут включаться в текст.

торые ранее решались наивными и неуклюжими методами, а теперь решаются с дотоле неведомой точностью и строгостью. Могут существовать разногласия в вопросе о том, какие из этих проблем надо решать, а какие следует разделить на составные части или просто отложить. Могут также существовать разногласия и в том, предоставляют ли эти средства наукой, как считал Рейхенбах, или их должны изобретать сами философы. Но эти разногласия не столь важны по сравнению со всеобщим согласием о типе исторического повествования, которому предстоит быть изложенным.

Рейхенбах создал широкомасштабную историческую драму, и это потребовало от него избирательности в выборе эпизодов. Если кому-то угодно толковать философию как попытку понять характер естественной науки, как то, что расцветает с расцветом естественной науки, и то, что способно привести к удовлетворительному заключению теперь, когда науки достигли «зрелости», то необходимо принимать «проблемы философии» как проблемы, которые были впервые четко сформулированы в XVII–XVIII веках — в период, когда феномен Новой Науки был главным объектом внимания философов. Это были прежде всего проблемы, связанные с характером и возможностью научного познания, эпистемологические проблемы. Идентифицировав философию с этими проблемами, можно объяснить, почему греческим и средневековым философам не удалось четко их сформулировать, приписав эту неудачу примитивному состоянию науки до 1600 года и отмечая при этом как нефилософский и идеологический интерес греков к политике и поэзии и интерес христиан к Богу. Это позволит взглянуть на Канта как на «высшую точку умозрительной философии», по выражению Рейхенбаха, и легко перескочить через XIX и начало XX века (эта привычка все еще сохраняется среди философов-аналитиков, которые рассматривают временной интервал от Канта до Фреге как некий период замешательства).

Рейхенбах считал серьезным заблуждением видеть в Гегеле преемника Канта. Рейхенбах поэтому говорил: «Система Гегеля — это слабое построение фанатика, который увидел одну эмпирическую истину и пытается сделать ее логическим законом в рамках самой ненаучной из всех логик» (с. 72). По мнению Рейхенбаха, Маркс, к несчастью, отказался от эмпиризма и воспринял гегельянство по «психологическим причинам» (с. 71). XIX век следует рассматривать не как начало поисков смысла истории, но как время, когда к решению вопросов, поставленных Декартом, Юмом и Кантом, приступили ученые-естественники, а не профессора философии. Рейхенбах осуждает тот тип учебника, где в главе о XIX веке упоминаются Фихте, Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр, Спенсер и Бергсон, а их системы описываются как если бы они были философскими творениями, однородны-

ми с системами более раннего времени. По словам Рейхенбаха, мы вместо этого должны видеть, что

философия систем заканчивается Кантом, и обсуждать более поздние системы на одном уровне с системами Канта или Платона — значит не понимать историю философии. Эти более старые системы отражали науку своего времени и давали псевдоответы, когда более подходящих ответов не было. Философские системы XIX века строились во время формирования более развитой философии; они являются творением людей, которые не считали философские открытия присущими науке своего времени и которые развивали, под именем философии, системы наивных обобщений и аналогий... С исторической точки зрения, эти системы следовало бы сравнить с рекой, которая, пройдя через плодородные земли, в конце концов иссыкает в пустыне (с. 121–122).

Такой взгляд на историю философии полон глубокого смысла, даже если согласиться с Куном в том, что наука не столь систематична, как мы когда-то считали, и с Куайном в том, что те «философские открытия», которыми восхищался Рейхенбах, были в основном догмами. Можно отказаться от этих догм и все же сохранить большую часть истории Рейхенбаха. Можно все еще придерживаться того мнения, что философия началась как самооценка естественной науки, что попытки претендовать на знания вне естественных наук следует измерять с используемыми в этих науках методиками и что философия лишь недавно стала научной и точной. Я полагаю, что этих взглядов придерживается подавляющее большинство философов-аналитиков, и я не хочу спорить против контекстуального определения «философии» в этих терминах. Это вполне подходящее определение, если мы хотим, чтобы «философией» называлась дисциплина, набор исследовательских программ, самостоятельный сектор культуры. Рейхенбах был прав, говоря, что некоторые проблемы XVII-XVIII веков, — грубо говоря, кантовские проблемы, — которые возникли из попытки дать научную оценку самой науке, зачастую считались философскими проблемами. Думаю, что он прав и в отмежевании от многих философских программ как от попыток претендовать на статус «науки», не придерживаясь при этом ее методик и не учитывая ее результатов.

Я бы сам вместе с Рейхенбахом отмежевался от классической гуссерлианской феноменологии, Бергсона, Уайтхеда, Дьюи с его «Опыт и Природой», Джеймса с его «Радикальным Эмпиризмом», неомистского эпистемологического реализма и целого ряда других систем конца XIX — начала XX века. Бергсон, Уайтхед и неудачные («метафизические») разделы Дьюи и Джеймса мне кажутся просто более слабыми вариантами идеализма, попытками ответить на «ненаучно» сформулированные эпистемологические вопросы об «отношении субъекта и объекта» с помощью «наивных обобщений и анало-

гий», которые подчеркивают скорее «чувство», чем собственно «познание». Если продолжить направление, заданное Рейхенбахом, то феноменология и неотомизм тоже, видимо, подлежат диагнозу и отмежеванию. Оба эти направления напрасно старались обособить для себя некий *Fach*³, отличный от науки и ее саморазъяснения, придавая значение идее исключительно «философского», сверхнаучного знания⁴.

Поэтому я считаю, что позитивизм вообще и Рейхенбах в частности хорошо послужили американской философии тем, что провели четкое разграничение между философией как объяснением и продолжением научного познания и философией как чем-то еще. Но я хочу поднять два вопроса об отношении между аналитической философией и традицией:

1) *Может ли оценка прошлого в духе Рейхенбаха дать нам картину настоящего и будущего, которая описывает значительную культурную функцию, некую постоянную задачу, которую бы выполняла философия?*

2) *Что можно сказать о «философии в качестве чего-то еще», — к примеру, о работе философов, которые не претендуют на то, что дают нечто вроде «решений философских проблем» или «сверхнаучного знания» — о «континентальном» соревновании, о таких авторах, как Хайдеггер, Фуко и их предшественниках в XIX веке? Что мы теряем, исключая их из философии?*

Далее я попытаюсь ответить на оба эти вопроса.

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ СПУСТЯ ПОКОЛЕНИЕ ПОСЛЕ СВОЕГО ТРИУМФА

В начале 1950-х годов, примерно в то время, когда вышла книга Рейхенбаха, аналитическая философия начала овладевать американскими отделениями философии в университетах. К великим эмигрантам — Карнапу, Гемпелю, Фейглю, Рейхенбаху, Бергману, Тарскому — начали относиться с тем уважением, которого они заслуживали. Их последователей стали назначать на самые престижные отделения, где они имели большое влияние. Отделения, которые не следовали этой

³ Предмет (нем.) — Прим. перев.

⁴ См. гл. 18, где Рейхенбах настаивает на том, что отказ от попыток прибегать к синтетическому *a priori* является признаком научной философии, и о его диагнозе философов, которые стремятся включить результаты научной философии «в вводную главу науки и заявляют, что существует независимая философия, которая не занимается научным исследованием и имеет непосредственный доступ к истине» (с. 305).

тенденции, стали терять свой престиж. К 1960 году установился новый набор философских парадигм. Закрепился новый тип аспирантского образования в философии, когда больше не читали героев предыдущего поколения Дьюи и Уайтхеда, когда значение истории философии намеренно принижалось и когда изучению логики стали придавать такое же важное значение, какое ранее придавали изучению языков. Благодаря послевоенному демографическому взрыву в 60-е годы и начало 70-х годов оказались именно тем временем, когда получали образование большинство ныне живущих американских докторов философии. В итоге большинство нынешних преподавателей философии в американских колледжах и университетах усвоило, обучаясь в аспирантуре, какой-то вариант предложенной Рейхенбахом картины истории и философии. Они воспитывались на том представлении, что им повезло стать участниками начала новой эры в философии — Эры Анализа, и теперь наконец-то все будет сделано правильно. Нередко их учили презирать тех, кто больше интересовался историей философии или вообще историей мысли, а не решением философских проблем. Как и Рейхенбах, они считали, что

философ старой школы — это обычно человек, которого обучали литературе и истории, который никогда не изучал точных методов математических наук и не испытывал счастья, доказывая закон природы путем проверки всех его последствий (с. 308).

Согласно чаяниям логических позитивистов, приход этого поколения должен был дать начало беспрецедентной эре сотрудничества, коллективизма, согласия по части достигнутых результатов. Прочные строительные блоки должны были укрепить здание знаний. Но этого не произошло. Теперь, в 1981 году, предсказание будущего философии кажется гораздо более невероятным, чем в 1951 году, когда писал Рейхенбах. В 1951 году аспирант, который (как это было со мной) находился в процессе изучения аналитической философии или обращения к ней, все еще мог полагать, что существует ограниченное количество особых, поддающихся точному определению философских проблем, подлежащих разрешению, проблем, которые любой серьезный философ-аналитик мог бы назвать выдающимися проблемами. К примеру, существовала проблема контрфактуального условного (предложения), проблема того, удовлетворителен ли «эмоциональный» анализ этических терминов, проблема Куайна о характере аналитичности и несколько других. Были проблемы, которые прекрасно вписывались в лексикон позитивистов. Их вполне можно было рассматривать как окончательную и правильную формулировку проблем, которые уже рассматривались как бы сквозь туманное стекло Лейбницем, Юмом и Кантом. К тому же существовала договоренность отно-

сительно того, что собой представляет решение философской проблемы, например решение Рассела об определенных дескрипциях, Фреге о смысле и референции, Тарского об истине. В те дни, когда мое поколение было юным, выполнялись все условия для куновской «нормальной» дисциплины, решающей проблемы.

Привести этот список проблем и парадигм — значит вызвать воспоминания о простом, более ярком, исчезнувшем мире. Сейчас в смежных «центральных» областях аналитической философии — эпистемологии, философии языка и метафизике — существует столько же парадигм, сколько крупных отделений философии. То, что доктор философских наук университета в Лос-Анджелесе считает серьезной проблемой, доктор Чикагского или Корнельского университета может таковой и не считать, и наоборот. Если какая-то проблема одновременно пользуется популярностью примерно в десяти из ста «аналитических» философских отделениях Америки, то это еще очень хорошо. Сейчас эта область являет собой некие джунгли конкурирующих исследовательских программ, период полураспада которых с годами как будто становится все короче и короче. За те пятнадцать лет, которые прошли после написания Рейхенбахом его книги, произошло возникновение и падение «Оксфордской философии». В течение пятнадцати лет с тех пор, как «Семантика Западного Побережья» пронеслась на восток и произвела *translatio imperii*⁵ от Оксфорда до оси UCLA⁶ — Принстон-Гарвард, у нас было несколько кратких сияющих моментов, когда будущее философии, по крайней мере философии языка, казалось четко очерченным. Но каждое из этих озарений пережило затмение. Сегодня в Америке не больше единодушия относительно проблем и методов философии, чем было в Германии в 1920 году. В то время большинство философов, вероятно, в большей или меньшей степени были «нео-кантианцами», но доминирующей формой академической жизни было то, что каждый *ordinarius*⁷ имел свою систему и выпускал студентов, которые считали проблемы внутри этой системы «ведущими проблемами философии». Это очень напоминает сегодняшнюю форму жизни американских философских отделений. Множество философов в большей или меньшей степени являются «аналитиками», но нет ни согласованной межуниверситетской парадигмы философской работы, ни хоть какого-то согласованного списка «центральных проблем». Все, на что может надеяться американский философ,

⁵ Передача полномочий (власти) (лат.) — Прим. перев.

⁶ Калифорнийский университет в г. Лос-Анджелес. — Прим. перев.

⁷ Обыкновенный (лат.). По смыслу — «рядовой преподаватель». — Прим. перев.

это на обещание Энди Уорхола ⁸, что *все* мы будем суперзвездами, каждый примерно в течение пятнадцати минут.

Ситуация в этической и социальной философии предположительно не такова, как в так называемых «центральных» областях философии. Здесь у нас есть «Теория справедливости» Ролза как подлинно межуниверситетская парадигма, книга, непреходящая значимость которой справедливо признается везде. Но аналитическая философия не может утешиться этим обстоятельством, когда она ищет самописание, которое сохраняет и модернизирует данное Рейхенбахом. «Теория справедливости» просто обходит метаэтические вопросы, которые в глазах Рейхенбаха были единственной связью между философией и нормативными суждениями (Ср. Рейхенбах, гл.17). Данная книга, которая восходит непосредственно к Канту, Миллю и Сиджуику. Эта книга могла бы быть написана, если бы логический позитивизм никогда не существовал. Это не триумф «аналитического» философствования, а просто самая лучшая модернизация либеральной общественной мысли, которая у нас есть. Случилось так, что она была написана профессором философии, но если бы Ролз изучал юриспруденцию или политическую науку, а не философию, то неизвестно, написал бы он в таком случае нечто совсем иное или хотя бы в иной манере аргументации.

Как не просто выразить в словах, в чем состоит природа «философии» и почему Маркс, Кьеркегор и Фреге являются великими *философами* XIX века, так же не просто и дать определение «философии», чтобы стало ясно, почему, например, Кун, Крипке и Ролз являются тремя значительными современными *философами* (в отличие от какого-нибудь расплывчатого общего термина вроде «мыслителей» или «интеллектуалов»), не говоря уж о том, почему они являются философами-«аналитиками». Конечно, это несерьезная проблема. Я думаю, что не следует пытаться строить такие определения «философии», которые вопреки истории выделили бы ее из остальных академических дисциплин. Но важно видеть, что Рейхенбах как раз считал, что аналитическая философия выросла с таким представлением о себе, которое зависело от ее способности это сделать. Рейхенбах говорил нам, что философию делает философией перечень проблем, которые теперь можно ясно видеть, — проблем относительно характера и возможности научного познания и его связей с остальной культурой. Философы-аналитики издавна полагают, что *некоторые* проблемы являются определенно *философскими* проблемами. Но они больше не в состоянии ни принять перечень Рейхенбаха, ни построить принципы для составления нового перечня. Вместо этого они просто позволяют,

⁸ Американский художник-авангардист. — *Прим. перев.*

чтобы этот перечень составлялся заново каждые несколько лет. Люди приходят на заседания АРА⁹ в числе прочих причин еще и затем, чтобы узнать, какие существуют модные новые проблемы, о чем сегодня говорят «знатоки в этой области». Потому что теперь стало достаточно представить проблему как «философскую», чтобы известный профессор философии написал о ней интересную работу. Институционный хвост машет научной собакой. Нам больше нечего рассказать об отношении между нашими проблемами и проблемами прошлого, об отношении, которое показывает, насколько яснее мы их понимаем, чем, скажем, Лейбниц или Юм. Вместо этого у нас есть процветающее предприятие, которому всего несколько десятилетий и основное оправдание которого состоит в самом интеллекте составляющих его людей.

Говоря, что «аналитическая философия» теперь обладает лишь стилистическим и социологическим единством, я не имею в виду, что аналитическая философия — это что-то плохое по сути или по форме. По-моему, аналитический стиль — это *хороший* стиль. *Ésprit du corps*¹⁰ философов-аналитиков здоров и полезен. Все, что я хочу сказать, так это то, что аналитическая философия превратилась, нравится ей это или нет, в такую же дисциплину, какую мы находим на других «гуманитарных» отделениях — отделениях, где претензии на «точный» и «научный» статус не столь очевидны. Нормальная форма жизни в гуманитарных науках такая же, как и в литературе и искусстве: гений создает что-то новое, интересное и убедительное, а его или ее почитатели начинают формировать школу или движение. Так, к примеру, на многих американских исторических факультетах сейчас в моде такой тип историографии, как *Анналы*, на многих факультетах сравнительной литературы в моде деконструктивная критика, а на многих философских отделениях — «семантика возможных миров». Сказать, что эти движения в моде, значит сказать, что Фернан Бродель или Жак Деррида, или Ричард Монтегю проделали замечательную работу и имеют много читателей и подражателей. Было бы ошибкой пытаться сделать что-то большее — стараться объяснить в духе Рейхенбаха, что Монтегю наконец удалось четко сформулировать или решить какую-то давнюю «проблему научной философии» или какую-то «выдающуюся проблему аналитической философии». Любая генеалогия, которую мы возводим в подтверждение такого заявления, будет совершенно неправдоподобна и подтасована, как если бы кто-то попытался доказать, что Деррида является истинным наследником д-ра [Сэмюэля] Джонсона или Бродель — Ранке.

Нам лучше расслабиться и сказать вместе с нашими коллегами в области истории и литературы, что мы, занимающиеся гуманитарны-

⁹ Американская философская ассоциация. — Прим. перев.

¹⁰ Корпоративный дух (франц.) — Прим. перев.

ми науками, отличаемся от ученых-естественников именно тем, что *не* знаем заранее, в чем состоят наши проблемы, и тем, что нам *не нужны* критерии тождественности, которые скажут нам, те же ли у нас проблемы, что и у наших предшественников. Принять эту смягченную установку — значит *позволить* институциональному хвосту махать псевдо-научной собакой. Это значит признать, что наши гении изобретают программы *de novo*¹¹, вместо того, чтобы считать, будто проблемы ставились перед ними самим предметом или «нынешним состоянием исследований». К тому же самому можно прийти, если сказать, что признак гуманитарной культуры состоит в том, чтобы не пытаться свести новое к старому, не настаивать на каноническом лексиконе, в котором должны формулироваться проблемы. Это положение Гадамера можно сформулировать в терминах Куна, если сказать, что существенное не должно быть «научным», но должно иметь дисциплинарную матрицу для постоянной работы, которая поддерживает разумное равновесие между «стандартами» и открытостью, или же в терминах Хабермаса можно сказать, что здесь важно, чтобы разговор был непрерывным и без искажений.

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ, «ФИЛОСОФСКАЯ СПОСОБНОСТЬ» И КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ

Та смягченная установка, которую я рекомендую, наводит на мысль, что мы не должны беспокоиться о том, сохранила ли аналитическая философия тот «научный» статус, которого Рейхенбах требовал для логического позитивизма, как не должны мы беспокоиться и о том, действительно ли то, чем занимаемся мы или кто-то еще, является «подлинной философией». Пусть распустится согна цветов, мы не должны им мешать, а должны восхищаться ими, пока они цветут, а ботанизирование оставим историкам-интеллектуалам следующего века. Однако эта позиция не гармонирует с позицией многих философов-аналитиков. Они не желают отказаться от свойственной Рейхенбаху попытки исключить философию из «гуманитарных наук» и отнести к «естественным». Они стали бы настаивать на том, что у нас, философов-аналитиков, есть некое особое отличие, которое отделяет нас от «гуманитариев». Это отличие состоит не в том, что нас интересует, как считал Рейхенбах, бесчисленный перечень проблем, а скорее в том, что мы обладаем особым интеллектуальным свойством, которое мы разделяем с математиками и физиками, но не со средним преподавателем литературы или истории. С этой точки зрения, заслуга в философии заключается не столько в том, чтобы действительно ре-

¹¹ Заново (лат.) — Прим. перев.

шить какую-то из «проблем философии» (поскольку подразумевается, что за «проблему» подчас можно выдать что угодно), сколько в истинном интеллекте, способности к решению проблем. Это наводит на мысль о том, что-де существует определенная сфера одаренности, или склад ума или что-то в этом роде, чем философы обычно в избытке обладают.

Если кто-то захотел бы более подробно узнать о том, в чем заключается подобное интеллектуальное свойство, называемое «философской способностью», то ответ, вероятно, был бы таким: способный философ должен уметь определить слабые места в любой услышанной им аргументации. Более того, он должен уметь делать это в отношении тем, обычно не обсуждаемых на занятиях по философии, но также и в отношении «специфически философских» вопросов. Как следствие, он должен уметь построить такую хорошую аргументацию, которая *может* быть построена для *любой* точки зрения, пусть даже это заблуждение. Идеал философской способности состоит в том, чтобы видеть все множество возможных утверждений во всех их логически выводимых взаимосвязях одного с другим и таким образом уметь построить или подвергнуть критике любую аргументацию.

Думаю, это верно, что философы-аналитики обычно действительно имеют немалые способности такого рода. Но так или иначе их собственный образ создается через постепенное самоутверждение. Человеку не посоветуют поступать в аспирантуру престижного американского философского отделения, если он не обладает этим особым качеством интеллекта. Даже если человеку нравится изучать Платона, Августина, Спинозу, Канта, Гегеля и т. д., но ему не хватает этого умения аргументировать, ему не посоветуют профессионально заниматься философией, и дело кончится тем, что он пойдет на отделение сравнительной литературы, или политики, или истории. В итоге у философов-аналитиков постепенно складывается представление о себе, как о людях, не являющихся специалистами в какой-то определенной области научного исследования, а скорее как о некоем *corps d'élite*¹², объединенном талантом, а не перечнем общих проблем и прежних результатов — так сказать, университетские *Inspecteurs des Finances*¹³. Таким образом, для аналитической философии становится все менее важным иметь о себе согласованное метафилософское мнение или ответы на вопрос: «Что считается “специфически философской” проблемой». Становятся все менее важными поиски связей между вопросами, обсуждавшимися Куном, Крипке и Ролзом. Для аналитической философии также становится менее важным иметь то, что Рейхенбах дал

¹² Элитарное сословие (франц.) — Прим. перев.

¹³ Финансовые инспектора (франц.) — Прим. перев.

позитивизму — оценку своей связи с прошлым. Потому что теперь важно общее умение, а не общие проблемы или общая генеалогия.

Из этого следует, что заявление: «Сейчас философия стала скорее научной, чем теоретической» — для современной аналитической философии стало означать нечто совершенно другое, чем означало для Рейхенбаха. Сейчас «научная» означает нечто вроде «дискуссионная». Разница между старым и новым больше не является разницей между незрелой донаучной и зрелой научной стадией обсуждения общего набора проблем, но является разницей между стилями — «научным» и «литературным». Первый из них требует четкого обозначения предпосылок, чтобы о них не приходилось строить догадки, и требует также, чтобы термины вводились определениями, а не ссылкой. Второй стиль может включать аргументацию, но это несущественно; здесь важно рассказать новую историю, предложить новую языковую игру в надежде на новую форму интеллектуальной жизни.

Если то, что я сказал в предыдущем разделе, правильно, тогда этот сдвиг в критерии идентификации от субъекта к стилю является естественным и предсказуемым. Если дисциплина не имеет четко определенного предмета и межуниверситетских парадигм ее реализации, то тогда ей придется иметь *стилистические* парадигмы. Думаю, что именно это произошло с аналитической философией, когда она в последние тридцать лет перешла от позитивистской к постпозитивистской стадии. Однако опять отмечу, что это не должно звучать принижаяще. Это не значит, что философы делают нечто такое, чего они делать не должны. Полагая, что философия не является предметом, имеющим историческое значение и миссию, я не утверждаю, что аналитическое движение как-то отклонилось от истинного пути. «Философия» в узком и профессиональном смысле — это просто все то, что делаем мы, профессора философии. Вполне достаточно иметь общий стиль и нишу в нормальном расписании организации университетских отделений, чтобы сделать нашу дисциплину столь же идентифицируемой и уважаемой, как и любая другая. На самом деле, там где стиль является разновидностью умения аргументировать, о чем я уже говорил, достаточно сделать его социально значимым. Страна может считать, что ей повезло, если у нее есть несколько тысяч относительно праздных и неспециализирующихся в чем-либо интеллектуалов, исключительно искусных в том, чтобы составлять аргументы вместе и разбирать их. Такая группа является драгоценным культурным ресурсом. Как мы всегда говорим в наших заявлениях на гранты, стране не мешало бы консультироваться у философов-аналитиков по общественным проектам. Наши советы по крайней мере не хуже, чем советы любой другой профессиональной группы, а может быть, даже лучше, чем у многих.

Однако есть *что-то* подозрительное в том, как аналитическая философия трактует сейчас свой собственный образ. Наверное, я могу выразить это, сказав, что мы вероломны, поскольку склонны считать себя знающими и умными. Мы не имеем права на эту двойную порцию самоуважения. Профессоров философии всегда считали знающими, так как полагали, что они много прочли и пережили, много странствовали в сферах мысли, обдумывали великие проблемы, которые всегда волновали дух человека. Это представление было более или менее правдоподобным, пока изучение философии сосредоточивалось вокруг изучения истории философии (как это было на американских философских отделениях до 1950 года, и до сих пор происходит, например, во Франции и Германии). Однако позитивистская революция изменила представление о философе, он стал не просто ученым, а естествоиспытателем. Получалось, что лучший студент-философ — это не тот, кто мог бы заниматься интеллектуальной историей, а скорее тот, кто мог бы заниматься математикой или физикой. При переходе к постпозитивистской аналитической философии этот образ ученого-естественника сменился другим, хотя и не вполне ясно каким. Может быть теперь самая подходящая модель для философа-аналитика — это *юрист*, а не ученый или естествоиспытатель. Способность составить хорошее резюме, провести сокрушительный перекрестный допрос или найти подходящие прецеденты составляет немалую часть той способности, которую философы-аналитики считают «специфически философской». Вам достаточно быть хорошим юристом или хорошим философом-аналитиком, чтобы вы могли сразу разглядеть логические взаимосвязи между всеми членами ужасающе огромного набора утверждений.

Причина, по которой философы все еще склонны приписывать себе мудрость, состоит в том, что современная аналитическая философия унаследовала от существовавшего тридцать лет назад логического позитивизма претензию на обладание надежной матрицей эвристических концепций — категорий, позволяющих ей классифицировать, понимать и критиковать остальную культуру. Но это не так. У позитивистской системы, которая хотя бы пыталась обеспечить подобную комплексность, не было преемника, не говоря о консенсусе по такой системе среди постпозитивистских философов-аналитиков. Но риторика, к которой мы прибегаем при получении грантов, и снисходительность, которую мы часто проявляем к преподавателям других предметов, все еще подразумевают, что мы в совершенстве владеем «концептуальными вопросами». Это предполагает, что кроме своей широкоизвестной способности аргументировать мы еще обладаем особым, привилегированным знанием о понятиях, которое создает нам привилегированное положение. Однако у нас нет такого знания, нет такой более высокой точки зрения. Мы демонтировали эвристические

построения Рейхенбаха, а заодно с ними и перечень «проблем научной философии». Мы ничего не предложили взамен, и не стоит пытаться сделать это. Если мы и узнали что-то о понятиях за последние десятилетия, так это то, что иметь понятие — значит уметь использовать слово, что владеть понятиями — значит уметь использовать язык и что языки создаются, а не открываются. Нам следует отказаться от идеи, что у нас есть доступ к неким сверхпонятиям, которые не относятся ни к какой-то определенной исторической эпохе, ни к отдельной профессии, ни к отдельной части культуры, но все же как-то присущи всем подчиненным им понятиям и могут использоваться для «анализа» этих последних. Таким образом мы бы расстались со старой мечтой, которую разделяли Платон и Рейхенбах и от которой нас пробудил Витгенштейн, мечтой о философии как *scientia scientiarum*¹⁴, как знании о природе научного знания, как результате успешного исследования природы всякого возможного исследования.

Позвольте мне попытаться конкретизировать это последнее соображение в кратком экскурсе в область «прикладной философии», где, к сожалению, много говорят о «концептуальных вопросах». Если мы откажемся от глубокомысленной риторики, то мы уже не скажем, что везде, где врач, столкнувшийся с медико-этической дилеммой, может использовать концепцию «личности» или «лучшего интереса», мы, философы, можем анализировать это для него, разъяснять это. Лучшее, что мы можем сделать, это объяснить, каким образом данный термин использовали разные авторы, которых мы прочли (Милль, Юм, Спиноза, Кант, Гегель), и что они говорили, применяя его. Это может добавить что-то, возможно, даже полезное, к тому, как этот врач будет впредь использовать данный термин, и таким образом, к решению, которое он будет принимать. Но это не расскажет ему, что он имел в виду на самом деле, какие допущения он делал, в чем действительно состоял вопрос. Это просто то, что дает любое развитие в гуманитарной культуре — это придает смысл каким-то новым альтернативам, новым контекстам, новым языкам. Мы не делаем ничего особенного, чего не мог бы или не сделал бы в той же ситуации профессор литературы или истории. Мы просто расширяем лингвистический и дискуссионный репертуар и, следовательно, воображение. Помимо этой традиционной гуманитарной задачи мы можем сделать только то, что делают юристы — обеспечить аргументацией что бы то ни было, что решил делать наш клиент, сделать так, чтобы избранное дело выглядело лучше¹⁵.

¹⁴ Наука наук (лат.) — Прим. перев.

¹⁵ См.: Moulton J. The Paradigm of Philosophy: The Adversary Method // Discovering Reality / Harding S., Hintikka M. (eds.), 1983). Это очень хорошая оценка юридического способа, которым философы-аналитики

Думаю, что в этом мы дурачим сами себя, потому что нередко мы встречаем врачей, психологов, историков, литературных критиков или просто обыкновенных граждан, повторяющих, как попугаи, слова или лозунги, которые зародились у того или иного из великих покойных философов или анализировались ими. Поэтому мы склонны делать вид, будто мы, философы, знаем, что происходит, а те люди, которые не знают генеалогию этих терминов или фраз, не могут этого знать. Это неверный вывод. Если врач разрывается между уважением к достоинству своего пациента и необходимостью уменьшить его страдания, его не смущают вопросы, которые ясны философу, способному рассуждать о преимуществах и недостатках телеологической и утилитаристской этики. Умение ясно выражать свои мысли — хорошее качество, но это не то же самое, что устранение путаницы, достижение ясности. Можно стать более умелым в выражении мыслей о своих альтернативах, если применять паутину слов, сотканную писателем, историком литературы, историком общества или теологом. Но ни в одном из этих случаев, чем в случае с паутиной философа-этика, способность сказать больше не является открытием того, что человек действительно имел в виду с самого начала, действительно все время предполагал. Один из уроков, преподанных нам Витгенштейном, — урок, который помогает нам дистанцироваться от Рейхенбаха, состоит в том, что найти правдоподобные предпосылки, из которых можно сделать утверждение, это не значит найти то, что утверждающий «действительно имел в виду». Еще он говорил, что научиться рассказывать о том, что человек делает, необязательно означает, и даже обычно не означает, открыть изначальную проблему, мотив или намерение человека. Строить аргументацию в научном стиле или повествование в литературном стиле — все это хорошо. Но это не открытие предше-

склонны размышлять о своей дисциплине. Моултон справедливо отмечает, что «в рамках парадигмы соперника мы понимаем философов прежнего времени как если бы они обращались к соперникам вместо того, чтобы пытаться построить фундамент для научной аргументации и объяснить человеческую природу. Философов, которых нельзя перелить в литейную форму соперника, скорее всего будут игнорировать. Но наша реинтерпретация может оказаться неверной интерпретацией, и наш выбор великих философов может быть основан не столько на том, что они сказали, сколько на том, как, по нашему мнению, они это сказали». Говоря, что «вообще неспособность победить в открытом споре не является веской причиной для того, чтобы перестать верить», Моултон занимает позицию, которая согласуется с позицией Роберта Нозика (см.: *Introduction // Nozick R. Philosophical Explanations. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1981*). Моултон и Нозик свидетельствуют о некотором разладе в обычном образе жизни философов-аналитиков и, возможно, о начале чего-то нового.

ствующей реальности, которая ждала, чтобы ее обнаружили посредством «анализа» или «размышления». Все, что случилось с аналитической философией за последние тридцать лет, помогло нам увидеть различия между такими построениями и тем типом научного открытия, которому Рейхенбах желал, чтобы тот ассимилировал философское исследование.

4. РАСКОЛ МЕЖДУ «АНАЛИТИЧЕСКОЙ» И «КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ» ФИЛОСОФИЕЙ

Я уже сказал, что аналитическая философия была вынуждена, в силу своей внутренней анти-позитивистской диалектики, уйти от представления о себе как о достигающей результатов науке в сторону такого представления, согласно которому она является просто свободным — и, может быть, даже «умозрительным» — проявлением умения аргументировать. «Умозрительное» здесь означает «нескованное никаким прежним набором разграничений или перечнями проблем». Рейхенбах *redivivus*¹⁶, по-видимому, ужаснулся бы этим отсутствием принуждения — смешением языков, разрастанием проблем и программ в современной американской философии. Но он бы восхитился стилем, настоятельностью аргументации, диалектической остротой. Он бы одобрил широко распространенное среди философов недоверие к тем, кто, по его выражению, «учился литературе и истории и никогда не изучал точных методов математических наук». Он бы согласился с одним известным философом-аналитиком, который убеждал, что «интеллектуальная гигиена» требует воздерживаться от чтения книг Деррида и Фуко. Однако такое отношение создало практические проблемы в американской университетской жизни, которые вкратце сводятся к вопросу: «Кто будет преподавать Гегеля?». Сейчас я хочу остановиться на этих проблемах.

Ответ Рейхенбаха на этот вопрос был таким: «Если возможно, то никто». Данный ответ полон глубокого смысла, если воспринимать Гегеля как философа, который безуспешно пытался делать то, что хотели сделать Локк, Лейбниц, Юм и Кант, а именно понять природу, возможности и масштаб достижений естественных наук. Ему это явно не удавалось. Имеет также смысл подчеркнуть это для того, кто делает акцент на «Логике», а также на гегелевской риторике о «системе» и «*Wissenschaft*»¹⁷. Но не эти разделы учения Гегеля были важны для Маркса или, более обобщенно, для исторической и политической мысли XIX века. Важными оказались именно те разделы, которые от-

¹⁶ Воскресший (лат.) — Прим. перев.

¹⁷ Наука (нем.) — Прим. перев.

далились от познания природы и от феномена Новой Науки к основанному на историзме само-пониманию и само-определению людей: *Феноменология*, *Философия Права*, и *Философия Истории*. С этих работ Гегеля началась серия частично перекрывающихся повествований о ходе человеческой истории, серия, включающая в себя Маркса, Ницше, позднего Хайдеггера и Фуко. Данные повествования не являются «Философскими системами». Они не пытаются дать решения проблем о субъекте и объекте, или каких-то проблем, которые, по мнению Рейхенбаха, были решены естественной наукой XIX века. Но этот жанр, по-моему, воплощает главную альтернативу ответу Рейхенбаха на вопрос: «Чем может быть философия в эру современной науки?»

Вопрос: «Кто будет теперь преподавать Гегеля?» — это стенографическая форма вопроса: «Кто будет преподавать этот жанр — всех так называемых “континентальных” философов?» Очевидный ответ на данный вопрос таков: «Любой, кого интересует их изучение». Этот ответ верен, но мы можем полностью согласиться с ним только в том случае, если разберемся с рядом искусственных вопросов. Один из них таков: «Действительно ли эти континентальные философы являются *философами*?» Философы-аналитики из-за того, что они отождествляют философскую способность с умением аргументировать и отмечают, что в багаже у Хайдеггера или Фуко нет ничего такого, что они считали бы *аргументацией*, наводят на мысль о том, что это, вероятно, те люди, которые пытались быть философами, но это им не удалось, т. е. некомпетентные философы. Однако, это так же глупо, как и говорить, что Платон был некомпетентным софистом, или что ёж — некомпетентная лиса. Гегель ведь осознавал, что он думал про философов, имитирующих метод и стиль математиков. Он думал, что они некомпетентны. Эти взаимные обвинения в некомпетентности никому не приносят добра. Мы просто должны оставить в покое вопрос о том, чем на самом деле является философия или кто действительно считается философом.

Нынешний период — не первый и, видимо, не последний, когда интеллектуалы, которые в собственное описание включают слово «философия», разбились на отдельные стаи и стали сражаться за территорию. В Америке конца XIX века то, что мы сейчас называем «философией», выделилось в отдельную стаю из того, что мы сейчас называем «христианской апологетикой», под аккомпанемент взаимных обвинений типа: «А вы вообще не философ». Аналогичные вещи происходили и тогда, когда то, что мы теперь называем «эмпирической психологией», начинало закладывать собственное дело. Сейчас же наблюдаем борьбу между отделениями философии и математики, когда решается вопрос о том, в чей бюджет включать расходы на единственного специалиста по математической логике, которого может позво-

лить себе университет. Такие споры по поводу денег и власти порождают немало риторики *ad hoc*¹⁸ о «характере данной дисциплины», риторики, которую опытный декан автоматически пресечет. Такие споры становятся опасными только тогда, когда та или иная сторона хочет сказать, что тот материал, который преподает другая сторона, вообще не нужно преподавать.

Как ни печально, подобные вещи иногда действительно говорят. Я слышал, что философы-аналитики рассердились на отделения сравнительной литературы за то, что те вторглись в философские владения, преподавая Ницше и Деррида, и пришли в еще большую ярость, когда им предложили преподавать этих авторов самим. И наоборот, я слышал, как приверженцы «континентальной философии» выражали недовольство тем, что их коллеги-аналитики зря тратят время студентов на «простое резонерство» и забывают им головы ненужными вещами. Риторика такого рода бессмысленна, как и взаимные обвинения в некомпетентности. Она, кроме того, и опасна, потому что может привести к тому, что в колледжах и университетах не найдется людей, которые смогут разъяснить интересующимся студентам некоторые книги. И все же учреждения либерального обучения могут оправдать свое существование лишь тем, что это места, где студенты могут обнаружить в библиотеке практически любую книгу — Гадамера или Крипке, Сёрла или Деррида — и затем найти кого-то, с кем можно о ней поговорить. Когда заканчивается вся эта свистопляска вокруг того, в бюджет какого отделения включать расходы, мы должны удостовериться, что в итоге не ограничились открытые для студентов возможности.

Из того, что я говорил, следует, что мы не должны волноваться о «наведении мостов» между аналитической и континентальной философией. Такой проект имел бы смысл, если бы, как говорится, две стороны решали общие проблемы разными «методами». Но, во-первых, здесь нет таких общих проблем: в поисках какого-нибудь исторического повествования не наталкиваешься на проблемы, аналогичные тем, что обсуждаются в «аналитических» философских журналах. Во-вторых, знание «методов» не обеспечивает ясного их применения на той или другой стороне. Представление о «мощных аналитических средствах», введенное Рейхенбахом, больше не имеет никакого отношения к тому, что фактически делают философы-аналитики. Эти самые средства были просто позитивистскими особенностями времен Рейхенбаха. Такие новые средства, что мы обрели, суть просто более или менее преходящие особенности более позднего времени. Прорыв пост-гуссерлианской «континентальной» философии тоже произошел *против* «метода». Осуществляемый Гуссерлем поиск фено-

¹⁸ Применительно к этому случаю (лат.) — *Прим. перев.*

менологического метода был, как и логический позитивизм Рейхенбаха, выражением стремления к «надежному пути науки». Но Гуссерль был краткой и бесполезной заминкой в последовательности Гегель-Маркс-Ницше-Хайдеггер-Фуко, которую я воспринимаю как образцово «континентальную» и которую Гуссерль осуждал как «основанную на историзме». Ницше, Хайдеггера и Фуко отличает от Гегеля и Маркса именно растущая искренность, с которой они *расстаются* с понятиями «системы», «метода» и «науки», их крепнущая готовность затушевать разделительные линии между дисциплинами, их отказ от настаивания на том, что философия это самостоятельный *Fach*.

Если оставить в стороне разговор о наведении мостов и объединении сил, мы можем увидеть, что этот аналитически-континентальный раскол носит постоянный и безвредный характер. Нам не следует думать, что он разрывает философию на части. Нет такой единой сущности под названием «философия», которая когда-то была целостной, а теперь разделена на части. «Философия» — это не название какого-то естественного вида, а всего лишь название одной из ячеек, на которые разделена гуманитарная культура в административных и библиографических целях. Мнение Рейхенбаха о том, что считается «научной философией», как и мнение Хайдеггера о том, что считается «онтологическим» в отличие от просто «существующего», — это лишь средство для привлечения внимания к той тематической области, которую стремятся обсудить. Если от такой подтасовки вернуться к нейтральному значению слова «философия», где она не является особой исследовательской программой или стилем, то у нас будет столь же мягкое определение, как и у Селларса: «Понимание того, как предметы в самом широком смысле этого слова связаны в самом широком смысле этого слова». Но этот нейтральный смысл имеет мало общего с философией в любом «профессиональном» смысле «философии». Поскольку и постпозитивистская аналитическая философия, и постфеноменологическая континентальная философия отказываются от характерного для Рейхенбаха представления о постоянной нейтральной концептуальной матрице, в которую обязательно должны помещаться все мысли и язык, им следует объединиться в отречении от роли мудреца, наивысшего авторитета в том, что касается содержательности или рациональности утверждений или действий. Объединившись в таком отречении, они могут согласиться иметь различия в вопросе о том, что является наиболее выгодным предприятием — искать интересные новые проблемы, чтобы спорить о них, или рассказывать широкомасштабные исторические повествования.

5. СКРЫТЫЙ СЦЕНАРИЙ

Все, о чем я говорил, я могу вкратце подытожить следующим образом:

1. Аналитическая философия возникла как способ движения от спекуляции к науке — от философии как исторически обоснованной дисциплины к философии как дисциплине, сосредоточенной вокруг «логического анализа».

2. Понятие «логического анализа» обернулось против самого себя и постепенно совершило самоубийство путем выдержанной в духе Витгенштейна, Куайна, Куна, Селларса и философии «обыденного языка» критики лексикона, выдаваемого за «научный», который Рейхенбах, к примеру, принимал в качестве очевидного.

3. Таким образом, аналитическая философия осталась без генеалогии, чувства призвания или метафилософии. Обучение философии превратилось в некую «судебную» процедуру, какие бывают в юридических училищах. Сообразительность студентов оттачивалась посредством чтения перепечатанных статей модных ныне деятелей и подыскивания к ним возражений. Обучаемые таким образом студенты начинали воспринимать себя не как продолжателей традиции и не как участников решения «нерешенных проблем» на границах науки, а скорее на основании стиля и качества аргументации. Они превращались скорее в квазиюристов, чем в квазиученых — в надежде, что подвернется новое интересное дело.

4. Такое развитие событий упрочило раскол между «аналитической» и «континентальной» философией, отменив изучение на философских отделениях Гегеля, Ницше, Хайдеггера и т. д. В американских университетах эта традиция сейчас обсуждается и на других отделениях, например на отделениях истории, политики, сравнительной литературы.

5. В итоге американские философские отделения оказались на мели где-то между гуманитарными науками (их родным домом), естественными науками (территорией, куда они когда-то надеялись переехать, но так и не были там полностью приняты) и общественными науками (куда они теперь запускают щупальца). Прежний тип профессора философии, который мог быть также историком или литературным критиком, сейчас отмирает. Новый тип хотел бы считать себя свободным аналитическим умом, способным применить «философский опыт» к чему угодно, но при этом имеющим собственную территорию, о которой он располагает особыми знаниями. Однако такое представление трудно подкреплять. Эта собственная территория постоянно перемещается из-за того, что период полураспада у философских проблем и программ становится все короче. Остальная часть академических кругов приходит в замешательство относительно того, в чем же может состоять этот «философский опыт».

Мой рассказ о борьбе между типами профессоров, профессоров с различными способностями и, следовательно, с различными парадигмами и интересами. Это история университетской политики и в конечном счете не более чем вопрос о том, какой тип профессоров проходит под каким отделенческим бюджетом. Проблемы, созданные университетской политикой, можно решить еще большим вовлечением в университетскую политику. Можно ожидать, что к концу века философия в Америке преодолет те неясности, которыми были отмечены последние тридцать лет, и начнет снова создавать свой четкий образ. Одна из возможностей заключается в том, что этот образ будет новой дисциплиной, не старше пятидесяти лет, которая (если тем временем аналитическая философия не одержит верх в континентальных университетах) не старается сомкнуться или даже спорить с тем, что практикуется под названием «философия» в других частях света.

Однако мое рассмотрение данного предмета затронуло не все. Споры между профессорами никогда не бывают в полном отрыве от более ширококомасштабных споров. Существовал сценарий, скрытый за расколом между старомодной «гуманитарной» философией (типа Дьюи-Уайтхеда) и позитивистами, и аналогичный сценарий есть за нынешним расколом между приверженцами «аналитической» и «континентальной» философии. Яростные нападки каждой из сторон, обвиняющей другую сторону в аморальности и глупости, свидетельствуют о страстях, которые нельзя полностью объяснить борьбой за влияние в университетах.

Хотя философия — это не есть нечто такое, что раньше было целостным, а теперь разделилось на части, таким является что-то другое, а именно представление светского интеллектуала о самом себе. До Канта светский интеллектуал считал знания, полученные посредством развития естественных наук, делом всей своей жизни. В XIX веке такие люди, как Хаксли, Клиффорд и Пирс, все еще считали уважение к научной истине высочайшей человеческой добродетелью, нравственным эквивалентом христианской любви к Богу и страха перед Богом. Эти деятели XIX века были героями Рейхенбаха. Но XIX век стал также свидетелем возникновения *нового* типа светского интеллектуала, интеллектуала, утратившего веру в науку столь же окончательно, сколь Просвещение утратило веру в Бога. Карлейль и Генри Адамс являются примерами этого нового типа интеллектуала, типа, в сознании которого преобладает ощущение случайности истории, случайности того лексикона, который он сам использует, ощущение, что природа и научная истина не столь существенны и что история — это арена драки за тепленькие местечки. Этот тип интеллектуала является сугубо светским, ибо он считает религию «науки» или «гуманности» всего лишь таким же самообманом, как и религию старого време-

ни. Его мысль склоняется к точке зрения Ницше на науку как на простое продолжение теологии, а то и другое для него лишь формы «самой большой лжи». Отношение подобных интеллектуалов к «научной» и «лингвистической» философии сводится к замечанию Ницше: «Боюсь, что мы не сможем избавиться от Бога, потому что мы все еще верим в грамматику».

Этот раскол между двумя типами интеллектуалов в нашем веке углубился. В самом деле, это не просто вопрос университетской политики. Это тот раскол, который в общих чертах набросал Сноу, описав контраст между «научной культурой» и «литературной культурой». Это антагонизм, который становится явным, когда философы-аналитики бормочут об «иррационализме», свирепствующем на литературных отделениях, и когда континентальные философы начинают кричать об отсутствии «человеческого смысла» в работах аналитиков. Это различие между интеллектуалом, который полагает, что нечто вроде «применения научного метода» является высшей надеждой человеческой свободы, и интеллектуалом, который вместе с Фуко и Хайдеггером считает такое представление о «научном методе» маской, за которой скрывается жестокость и отчаяние эры нигилизма. Это проявляется, когда философы-аналитики отмечают, что Карнап эмигрировал в то время, как Хайдеггер вступил в нацистскую партию, или что Рассел видел сталинизм насквозь, а Сартр — нет, или что Ролз разделяет надежду простых цивилизованных людей на господство закона, а Фуко — нет. Это помогает объяснить, почему Крипке, Кун и Ролз в некотором смысле работают на одной и той же стороне улицы, хоть их интересы почти не пересекаются, в то время как Хайдеггер, Фуко и Деррида работают на другой стороне, хотя они и обсуждают совершенно разные темы.

Можно назвать это *политическим* расколом, потому что обе стороны считают, что они выступают за интересы глобального полиса, как вожди, которые обязаны разъяснить своим согражданам опасности времени. Кроме того, это разделение на «научных» и «ненаучных» интеллектуалов всячески связано со всеми возможными проблемами, являющимися «политическими» в более узком и знакомом смысле. Однако вместо того, чтобы обсуждать эти проблемы, я просто хочу предложить, чтобы мы сохраняли прагматическую терпимость на всем протяжении нашего пути, чтобы каждая из сторон видела в другой стороне честных, пусть и заблуждающихся коллег, которые делают все от них зависящее, чтобы нести свет в темное время. В частности, мы должны напоминать себе, что хотя и *существуют* связи между университетской и настоящей политикой, эти связи не настолько тесны, чтобы оправдывать перенос страстей со второй на первую.